

АНДРЕЙ ГУБИН
ИЗМЕНА

ПОВЕСТЬ

Рядовой Крашенников, светлоглазый крепыш, вышел из солдатской столовой, прислонился к сугулуму деревцу и вздохнул. За ночь он вымыл восемьсот мисок и столько же кружек, нарубил кубометр дров, помогал поварам таскать мясо и сухари, весь пропитался салом и дымом.

Куст красной бузины осыпан росой. Чашечки полевых цветов до краев налиты утренней влагой, как стаканы в начале пиршества. Над рекой извилистая полоса тумана. В розовой сини длинные перистые облака.

Лагерь еще спит — сотни белых палаток в лесу, похожем на парк. Только дневальные бодрствуют. Собирают опавшие за ночь листья. Выкладывают ягодами календарь — 1941 год. «Наводят маршкет» на желтых песчаных линейках, разрисовывая их граблями и ругаясь, если найдут спичку или обрывок махорочной пачки. Подстригают траву у больших звезд из красного бетона, влитых в землю у знаменных беседок. На коленях полят генеральскую линейку, похожую на шестиколосный цветной ковер. По этой линейке не ходили ни генералы, ни маршалы, но ее держали в особой чистоте. Широкая, как проспект, она тянулась версты на три. Кирпич для нее дробили вручную, белый кварцевый песок носили с реки вещмешками.

У Крашенникова глаза будто засыпаны мякиной — так хочется спать. Но спать не придется — солдат отработывал на кухне внеочередной наряд.

Рядовой сознавал, что провинился. Политрук роты вел политчас и, говоря о международной обстановке, спросил Крашенникова:

— Товарищ боец, какое главное событие происходит сейчас в жизни?

За окном политуголка буйно цвели травы, звенели жаворонки. Солдат встал, посмотрел за окно и четко ответил:

— Весна!

Рота сдержанно засмеялась. Крашенников, не мигая, «ел» глазами начальника. Не меняя тона, политрук сказал:

— Сегодня в личное время будешь заниматься самоподготовкой!

— Слушаюсь!

Но в «лишнее время» играл в футбол,— он капитан сборной дивизии. Политрук, страстный болельщик, после матча подозвал Крашенникова, поздравил с победой и спросил:

— Почему не выполнил приказ?

Крашенников, потный, радостный, смутился, стоял по стойке «смирно», хотя был в спортивной форме.

— Капитан Губарев! — сказал политрук командиру роты, в которой служил Крашенников. — Прошу вас строго наказать бойца за невыполнение приказа!

Губарев, сухой, темнолицый щеголь, оживленно беседующий с игроками, поскучнел, подтянулся и дал Крашенникову наряд вне очереди. Солдаты стихли. Отделились от офицеров. Молча пошли ужинать.

Тяжелая ночь с ненужными звездами, с шутками толстушки Лизы-судомойки, с удушающим запахом старого жира — позади. Крашенников потянулся, зашагал к реке и столкнулся с Губаревым.

— Здравия желаю! — вытянулся солдат.

— Здравствуй, Крашенников. Устал?

— Немного есть.

— Отдохни до обеда...

— Слушаюсь!



— Батальон — подъем! — прокричал издали дежурный с радостной злостью неспавшего человека.

Десятки дневальных, перекатывая команду, объявили:

— Рота — подъем!

Из палаток выскакивали голые по пояс солдаты, становились в строй, еще не проснувшись, и бежали на плац делать

физзарядку. Начался буднич­ный армейский день.

В полдень рота Губарева пришла с учений. Пыльные, темные от солнца солдаты торопливо снимали с себя лопаты, карабины, противогазы, сумки, скатки. Под ремнями и снаряжением темнели полосы и круги пота.

Крашенников принес из библиотеки кипу писем, радостно роздал их счастливым, перехватил ждущий взгляд командира роты, виновато сказал:

— Не пишут, товарищ капитан!

Сделал паузу и, подавляя радость, добавил:

— В штаб пришел вызов из института. Готовят приказ о моей демобилизации... Разрешите быть свободным?

Губарев знал, что Крашенников со дня на день демобилизуется, и все-таки ошеломило: уходит умный, выносливый и честный солдат. Крашенников сживал и на гауптвахте, непрочь был посачковать, но лучше других преодолевал штурмовую полосу, считался отличным разведчиком и никогда не подводил командиров в решительный час.

— Ну, что ж, желаю тебе счастья,— сказал Губарев.— Вот теперь ты мне будешь писать письма.

— Так точно — не сомневайтесь

— буду!

— Можешь быть свободным.



Губарев ушел в командирскую палатку, лег на койку, на янтарно-желтом от солнца брезенте колебались тени листьев. Было видно, как по наружному скату медленно ползла гусеница. Потом прямо над лицом Губарева села маленькая смешная птичка и долго топталась на скользком скате. Березки устало позванивали листьями. С реки доносились крики купающихся солдат. Командир забылся, но тотчас его разбудили. В роту для прохождения службы прибыли новобранцы — выпускники институтов.

Губарев поправил португеею, фуражку и вышел на линейку.

Поздоровался с группой одетых пограждански парней. Приказал старшине остричь их, вымыть, одеть по форме и поставить на довольствие. Когда парни нестройно двинулись за старшиной, командир присмотрелся к замыкающему. Где он видел эти ноги, чуть вывернутые пятками наружу? И почему так больно? Новобранец обернулся. Да, это Морганин, художник, учившийся вместе с Губаревым, только на младшем курсе, а потом...

Командир отвернулся. Он не хотел думать, что было потом. Но оставаться спокойным уже не мог. Какая-то сила его влекла к Морганину, и он медленно шел за колонной к бане.

Когда Губарев подошел к бане, то услышал голос Морганина:

— Мы не скоты, чтобы нас мыли грубыми мочалками.

— Оставить разговоры! — свирепо крикнул расторопный старшина-татарин.— Кому не нравятся мочалки, выходи сюда — я его живо отмою и тому подобный!

Морганин отмолчался. Потом, видимо, сказал какую-то колкость и сам приглушенно засмеялся.



Сырой лимонный закат охватил полнеба. Тонко попискивали комары. Вороны усаживались на косматых дубах, должно быть, помнящих еще французское нашествие. Прошли на развод караулы, и на плацу долго звучал полковой оркестр.

Губарев заступил дежурным по дивизии. Проверил пистолет, осмотрел шкаф со знаменем, ощупал печати, обошел с караулом штабы полков, столовые, гауптвахту, принял рапорты на вечерней поверке... А заря все горела над высокими соснами и вдали багрянила крест на старинном соборе в городке, знаменитом в истории России тем, что все захватчики с запада шли через него.

Голубые столбы и домики на стадионе повлажнели от росы. После ужина солдаты собрались в курилке — подковообразная скамейка, в центре

врыто колесо машины для окурков. Крашенников в новой форме, загрустивший от предстоящей разлуки с друзьями, бросил горящую спичку в «пепельницу». Вспыхнул желтый жестяной огонек. Подбросили щепок, смолья.

Новые солдаты вспоминали о доме, задумывались, завидовали Крашенникову, расспрашивали старшину о службе. Старшина учил их заворачивать портянки, считая это наиглавнейшим из умений, и терпеливо разъяснял:

— Все должно быть однообразным — койки, походка и тому подобный...

Ночь обнимала мир. Просилась песня. Негромко, с душой запели новички. К костру подходили люди из соседних подразделений, садились на землю и молча слушали. Красноватые блики сумрачно красили лица. По временам угли вспыхивали, озаряли серьезные влажные глаза.

Дорогая, любимая,
За разлуку прости меня —
Я вернусь раньше времени...
Если только вернусь.

Не было ни командиров, ни подчиненных. Заботы дня отлетели. Солдаты сосредоточенно подпевают вновь прибывшим.

Подошел Губарев. Время отбоя прошло. Но капитан заслушался, раздавая налево и направо папиросы. Старшины мялись — нарушен распорядок дня, солдаты обязаны спать по сигналу. Дежурный молчит, слушает, а вдруг арестует старшин, роты пошлет на плац заниматься строевой подготовкой. Но песню жаль рвать. Так идет время.

И из далеких студенческих лет на Губарева опустилась мутная, угарная песня. Запели Морганин и Малинин, крупнолицый с наглыми глазами альбинос, успевший за полдня познакомиться со всеми девушками, приходившими в полк. В песне говорилось о бесцельной жизни колониальных офицеров в далеком Кейптауне, в казармах черной Африки.

Так лучше сразу пулю в лоб —
И делу крышка,
Если смерть, говорят,
Не передышка.

— Отбой! — тихо сказал дежурный и ушел в темноту.

Красная луна стояла над лесом. Губарев шел по передней линейке. При его появлении караульные кричали:

— Дежурный — на линию!

И дежурные рот рапортовали Губареву, что лиц в незаконной отлучке нет и отбой произведен...

В лунном красноватом свете белел клуб офицеров.

Губарев вошел в зал, светлый от струганых стен. Ему приветливо улыбнулась полногрудая Фаня в шифоновом платье, жена командира полка. Она танцует с полковым комсоргом, тощим конопатым верзилой, с тремя кубиками на петлицах, с «лейкой» через плечо. Фаня держит на руке сумку и электрический фонарь — в «Шанхай» — фанерный офицерский поселок — возвращаться поздно, по лесным размытым дорогам. У скамейки стоят ее белые резиновые сапоги, а сейчас она в крошечных туфельках-коготках.

Фокстрот кончился. Губарев с удовольствием бы пригласил Фаню на вальс. В этом танце они бы непременно выиграли приз. Грянула полковая медь.

— Дежурный по батальону — на выход!

Офицер из штаба встретил Губарева, и они помчались в машине, полосую дубы и сосны светом фар.



В штабе дежурному вручили секретный пакет, который он обязан вскрыть, если позвонит погранзастава.

Из темной комнаты вышли двое. Капитан взял под козырек. Комдив и неизвестный Губареву генерал. Они рассеянно выслушали рапорт дежурного и вышли.

Тишина. Днем тут, в пустых и просторных комнатах с фанерными

перегородками внутри, потели писари и казначеи. Столы, скамейки да сейфы. На стенах плакаты.

В переднем углу коридора — свернутое знамя дивизии. Замер безмолвный караул. Винтовки заряжены. Штыки примкнуты. Лица солдат непроницаемы, загадочны. Губарев хорошо знал этих ребят, деловых, замасленных танкистов, приехавших в армию из колхоза. Но сейчас их словно подменили. Они смотрят ему в лицо, но не видят его — они видят знамя, стоящее сбоку.

Капитан прошел в дежурку, прикурил от коптилки, сел за стол и застонал. Ночная бабочка влетела в открытое окно, закружилась над огнем, бросая чудовищные тени на слабо освещенные стены. С ночных стрельбищ четко долетели пулеметные очереди.

Встреча с Морганиным разбудила спящее сердце Губарева. Чудилось прошлое. Слышалось пенье звезд. Губарев вспоминал...



Ранним утром он приехал поступать в художественное училище в Москву. На вокзале пахло свежим печеным хлебом. Валили толпы пассажиров. Молодая цыганка с красными камнями в ушах кормила дитенка смуглой грудью на виду у всех. Милиционер в белых перчатках косился на нее, не зная, что предпринять.

У водосточной решетки асфальт усыпан лепестками цветов — здесь продавали букеты. Губарев шел по лепесткам. Грустная, бледная девушка с белыми волосами, подрезанными прямо и просто, как мечом у рыцаря, посмотрела на Губарева и отвернулась. Он улыбался.

Белая лошадь в упряжке ласково нюхала ящики с пивными бутылками и тянула добрую морду к угрюмым и сонным пассажирам, бегущим кто куда.

Губареву спешить некуда. На глазах у девушки он поставил чемодан на бледно-розовую розу, потерянную или брошенную. Но девушка не рассердилась

— улыбнулась мило и обаятельно. Тут же ее смяла толпа, хлынувшая из тоннеля, — пришел новый поезд.

Вставало солнце.



Они встретились в коридоре училища, в шумной толпе жаждущих приобщиться к чаше искусства.

— Поступаете? — спросила обрадованно.

— Да, и вы?

— Вы обязательно поступите — у вас что-то есть в лице!

— И у вас есть что-то!

— Вы очень живописный, — и она тут же, на подоконнике, несколькими штрихами набросала лицо Губарева.

Вечером поехали за город — жили на частных квартирах, что снимал институт. Оба были с юга и любовались спокойной русской рекой, сосновым бором, раздольными лугами, где паслись кони.

Играли в волейбол. Катались на шлюпке. Губарев рассказывал Неяловой о дальних странах — там побывал он как штурман. Ему двадцать четыре года. Работал дровосеком, кочегаром, грузчиком, маляром. А ей семнадцать, она из десятилетки.

Уже при ярких звездах он проводил Алису к бревенчатому дому с кружевной резьбой на окнах. Неожиданно хлынул дождь. Губарев набросил на двоих черный морской плащ, и так стояли они до рассвета и говорили. О чем? Теперь это невозможно представить. Наверное, о будущем.



На вступительных экзаменах они болели друг за друга — особенно она за него. Она, не колеблясь, уступила бы свое место в училище ему. Испытания приносили им пятерки, вскоре они оставили соперников позади.

Вокруг Алисы толпились абитуриенты. Привлекали ее необычные рисунки, экспрессивные, лаконичные.

Талант — дар божий, говорили педагоги. Все удивлялись, как удастся ей так скупое решить композицию. Она отвечала словами художника Давида:

— Правильно проводите линии, между ними кладите любые краски, но правильно проводите линии!

Первого сентября они встретились на платформе, когда издали загудела электричка и занял звонок переезда. Алиса — тоненькая, в школьном платьице, с древней славянской челкой. Губарев — широкоплечий, в свежей брезентовой куртке, с букетом жестких розоватых дубков, которые подарил ей.

В аудитории они, не сговариваясь, сели на одну скамью и торжественно записали первую лекцию — о сущности искусства.



Пламенные гроздья калины на могучем, темно-синем ноябрьском небе. Красные листья медленно кружатся в засыпающем саду.

Губарев и Алиса в маленькой комнате, оклеенной шпалерой. У них день самостоятельных работ. Он пишет ее портрет. Сладко пахнет красками. Полутемно. Свет на холст падает немного из окна, немного от лампочки, тлеющей под потолком. Колченогий столик, два вишневых стула, койки, застланные шинельными одеялами. На стенах этюды, наброски, картины, оставленные хозяйке постояльцами-художниками в дни оно.

Над койкой Губарева его реликвия, купленная за границей. «Портрет молодого человека с цепью». Брабант, семнадцатый век. На полотне энергичное, смуглое лицо с живыми черными глазами. Тонкий с горбинкой нос. Волевой подбородок. Романтические белые кружева вокруг сильной шеи. Дворянский атласный плащ. Ржавые кольца цепи на груди.

Как-то за работой припозднились. Пришел с женой старшекурсник Никитин, живший в соседней комнате. Они принесли редкую для времени года белую розу и бутылку вина. Познакомились.

Выпили. Поговорили о последней выставке. Никитины удалились на покой и унесли розу. Ночью Алиса выкрала цветок и поставила в комнате Губарева в стакан с недопитым вином. Когда роза покраснела от вина, Алиса горячо, по-женски поцеловала возлюбленного.



Время летит быстро. Вновь и вновь расцветает палитра. Уже белые снега косо падают на зимний сад. Вкусно трещит в печи антрацит.

На мольберте законченный портрет. «Серебряная голова». Это и Алиса, и Моцарт, и Вдохновение, и Печаль, и сам автор. Здесь ликовала рука мастера.

Наиболее строго судила Алиса. Губарев плохо проводил линии. А пространства между ними наполнял неожиданно свежими красками. Этого не хватало Алисе. Он нес буйство красок. Она строгую сдержанность, блестяще отточенный вкус. Он был магом палитры, она — рисунка.

Когда Губарев грузил корабли, поедая с братвой на причале бананы и дыни, Алиса жила в тиши картинных галерей, в окружении монографий и их составителей. Она мало знала подлинную жизнь, у нее не было смелости мазка. А он, перегруженный картинами Мира, плохо ладил с простотой. Иногда казалось, что они две половины целого.

Как все самоучки, Губарев учил только вершины и по ним сверял свои работы. Отсюда стремление писать только шедевры, что вызывало смех и нарекания в нескромности. Вершины — главное. Но они хрестоматийны.

Так, Губарев казался банальным. В «Серебряной голове» кое-кто усмотрел налет божественного, старомодного.

Губарева любили, но и посмеивались над ним более молодые и более натасканные в теории и истории искусства. Отводили ему роль мужика, гения от сохи, который никогда не узнает модуляций и кадансов искусства и, следовательно, почти не имеет шансов на

победу. Но один из «аристократов», студент Раздольский, талантливая бездарность, умница и неврастеник, сказал:

— Ничто так не выдает дилетанта, как знание малоизвестных, забытых и всякого рода модных вещей.

Губареву еще предстояло учиться. Он еще мог сравняться с дилетантами. А «Серебряная голова» уже выставлена в лучшем зале столицы.

Пролетели семестры, сдана весенняя сессия. Студенты разъехались на плейер. Он — на Белое море, где писал красные сосны на песках, рыбачьи лодки, старинные храмы, портреты поморов, собирал иконы четырнадцатого века. Она — в Прибалтику, очарованная готикой, средневековьем, каменным зодчеством купцов и пиратов.



В разлуке любовь окрепла. Снова кружили голову лекции знаменитых художников, натурщики, краски. В свободное время они бродили в подмосковных лесах, по дворянским усадьбам-музеям и монастырям, в людской суতোлке площадей и выставок.

Осенью синеют реки. Грустные, смиренные деньки озлачивают одинокие яблоки на облетающих деревьях. Острым глазом художника Алиса видела яркое приближение холодов во всем.

— Посмотри,— шепнет Губареву,— вон парень? Осень.

На эскалаторе метро молодой рабочий — кепка натянута плотно, нос покраснел от утренней свежести, руки в карманах, а сбоку девушка везет с дачи охапку багряных листьев с синими жилами.

Они любили фламандский колорит пивных. Круги колбас. Дубовые бочки. В пыли перед стойкой золотистая рыба чешуя. На скамейке рассядется какой-нибудь инвалид, оставит костыли, весело урча, грызет ошпаренных в кипятке раков, запивая их пенным пивом.

Алиса тоже держит граненую кружку с кипящим пивом и сухую воблу.

Щурится на нежаркое солнце. Перед глазами синяя вечность и бесконечное сплетение красок — белые кружевные дачи, змеинные вагоны электричек, холодное пламя березовского шума...

Она в легком белом шарфике, в серебристом плаще. Он в яркой клетчатой рубашке, темных брюках, с широким пушистым кашне через плечо.

Видя, что у Алисы нет к зиме теплого пальто, он нанимался ночами расписывать витрины магазинов, оформлять стадионы, детские площадки. Работу эту называли халтурой сами заказчики, но Губарев и в нее вкладывал душу.

Иногда он мыл пол в комнате Алисы. По вечерам жарил картошку, бегал на станцию за кефиром — она забыла купить, скоблил посуду, пока она, уютно свернувшись калачиком, читала о Врубеле или Гогене, или грызла яблоко, умоляюще и любяще глядя на дорогие руки Губарева.

Эти руки много делали ей добра — руки штурмана и дровосека, горячие, темные, грубоватые. Однажды они отбили три пары хулиганских рук, поднявшихся над Алисой. Но особенно запомнились с того вечера, когда их факультет работал на субботнике, разгружая овощи.

Веселая была ночь! Октябрьская, звездная, ветреная! Огромный двор, вагоны, подвалы хранилищ, озаренные керосиновыми фонарями. Алиса в зеленой стеганке, повязалась платочком — портрет фабричной девчонки, только туфли на каблуках.

Морозило. Жгли ящики. Пекли картофелины. К полночи у Алисы замерзли ноги. Губарев посадил ее на свой плащ, снял ее туфли, ноги взял в руки — и блаженное тепло согрело ноги. У нее и в жару руки были холодные, а у него горячие и в мороз.

Их бюджет невелик. «Серебряная голова» пока что принесла только славу. Мать Алисы давала уроки на фортепьяно, отец с ними не жил, присылая часть пенсии. Студенческая стипендия скромна, а работа художника тяжелее труда землекопа.

Алиса еще такая маленькая, рано ей работать. Сколько в ней наивного, ребяческого. До сих пор она с удовольствием читает детские стихи про крокодилов и бармалеев, подражая детскому произношению. На долю Алисы выпало детство, полное игрушек, музыки, сластей и тепла. Поэтому Губарев постоянно изыскивает деньги, чтобы сделать приятное любимой.

Если шел дождь,— от городского асфальта пахло разломленным арбузом, и он, как боксер из рассказа О. Генри, шел среди ночи покупать арбуз, а когда еще зима звенела ледяными подковами по площадям и крышам, он приносил ей зябкую, донельзя нежную весну — букетик мимозы, желтые пушистые шарики на веточках. Алиса ставила мимозу в глиняную вазочку, долго радуясь весне.

А в любви она совсем взрослая. Запомнилось озеро. Вечер. Крутые розовые волны. Белое тело Алисы в черном купальнике. И женщина с округлыми грудями и сильными бедрами, и ребенок с тонкими, как у олененка, ногами. Руки как будто бессильные, а плавала она дольше Губарева-моряка. Они заплывали далеко и целовались на волнах.

Так он выполнил работу по композиции. «Эскиз для декорации к трагедии «Гамлет». Две стремительные фигуры на выпад. Поединок происходит на помосте, висящем, как фонарь, на четырех цепях. Под помостом клубящаяся мгла пропасти. Цепи сходятся где-то в бездонной выси, как укреплены, не видно. Зато видно, как разошлось циклопическое звено одной цепи. Бешеные движения сражающихся колеблют помост. Миг — и он рухнет. Цепь почти разомкнулась. Гамлет видит, что обречен и в случае победы, но продолжает сражаться...

Работа прошла незамеченной.

В то время всходила звезда Морганина, художника миниатюрных настроений. Не вдаваясь в большие жизненные проблемы, он блестяще писал лимон, блюдце, торшер. Он пленил многих. Он как будто открыл истину, что живопись — это цвет независимо от

содержания картины. Педагогам он не доставлял хлопот, и они всячески выдвигали его. На какое-то время показалось, что Морганин родил новое течение. Масса эпигонов, неудачников и прихлебателей в искусстве поднимали Морганина на щит. Начались его выставки. Морганина приняли в Союз художников.

Он завел себе собаку, прическу на особенный манер, трость, снял дачу под мастерскую в заокских лесах. На даче собирались его близкие.

Ради романтики они назвали свой кружок «Оранжевая Черепаха». Здесь царил цинизм вольных, хорошо обеспеченных людей, забывших или не знающих, как делают хлеб и волю. Рассказывали анекдоты, увлекались картинками иностранного происхождения или оригиналами доморощенных абстракционистов.

У Губарева был друг, кристальной чистоты человек, художник-абстракционист. Он многому научил Губарева, художника-реалиста. Новые линии уже господствовали не только в архитектуре, но и в мебели, машинах, безделушках, афишах. Иное дело фиксация работы слепой кишки, столь важная для медиков. Или откровенная порнография.

Абстракционисты «Оранжевой Черепахи» обычно писали один сюжет «Любовь». Нагромождения ярких геометрических фигур, пятен и бликов. И среди них сочно выпяченная часть голого тела или сплетения тел. Этому трудно было найти название.

Метром все же считался Морганин с его «Ракушками», «Флаконами» и «Пуговицами». Здесь не было духа наживы, стяжательства, приспособленчества. Правда, говорить о политике избегали, иронически относясь к громким фразам и лозунгам времени. В остальном было позволено все.

К «Черепахе» льнули пылкие, честные, доверчивые юноши с бунтарскими искрами в крови. Им надоели постные нотации некоторых комсомольских вожаков. Их тянуло на

большее — увековечить себя в бронзе новых учений! Сюда прибывались девицы. Их влекло не искусство — жизнь тут вальжнее, наряднее, острее.

Алисе нравились юноши-бунтари, несогласные на малую роль в истории, на роль винтиков в гигантской машине. Нравились и девицы, кичившиеся своими связями с маститыми композиторами и режиссерами, и от этого бывшие с искусством на ты.

К отцам черепаховцы относились снисходительно. Сын легендарного героя гражданской войны нарисовал отца с кошачьими усами. Алиса смеялась до упаду. Ей вспомнился свой отец. Желчный, педантичный интеллигент, полковник запаса, он без чувств и не рассуждая, казалось, стоял на коленях перед всем, что связано с именем революции. Но ухаживал за подругами дочери, бросил мать, был замешан в темных комбинациях какого-то ювелирного треста и сумел выйти сухим из воды. По несчастливой случайности он смолоду увлекался живописью и аккуратно копировал мастеров Третьяковки. Еще в школе дочь без всякого уважения смотрела на творения отца. «Оранжевая Черепаха» открыла ей глаза: надо идти дальше, отцы устарели безнадежно, времена меняются, кровь всех людей одинакового цвета. И она усвоила это. В ее суждениях появился скепсис по отношению философских работ Губарева. Но она еще не знала, что идти дальше — не всегда идти вперед.

Ей до тошноты надоели улицы, институты, колхозы «имени» такого-то. Надоела стандартизация. Как слесарю автозавода надоели сигареты «Автозаводские» — ему бы хотелось курить сигареты «Желтый цыпленок» или «Альбатрос». Однажды они с Губаревым были в ресторане. Им понравилось. Спросили, как называется ресторан — в темноте не рассмотрели вывеску. «Третья точка торгтранснаба» — ответила официантка. «Парус» — сказала Алиса. «Косой парус» — добавил Губарев.

«Оранжевая Черепаха» — старый шаблон. Некоторые старые шаблоны

оригинальнее таких новшеств, как «Автозаводские».



Морганин ухаживал за Алисой. Делал предложение. Она смеялась в ответ. Губарев был в отъезде. Морганин пригласил Алису на дачу. Ее охватила мальчишеская радость свободы, чувство каникул. Ей нравились работы Морганина, хотелось посмотреть самое сокровенное и холсты его друзей-абстракционистов.

Сама она перестала писать на третьем курсе. Нередко приносила на зачет работы из старых папок Губарева. Любовь обезоружила ее как художника. А Губарева поднимала к новым высотам. Она злилась. Ей казалось, что Губарев заковал ее в свою любовь, в свой талант, как феодалы заковывали жен в башни и железные пояса. Он был для нее обжитым миром. Ее потянуло к новым островам — она не знала, что не все новое — прекрасно.

Она возмутилась против себя за то, что раздумывает — ехать или не ехать к Морганину. Что же в том плохого — поехать в мастерскую модного художника!

В круглой стеклянной комнате с превосходными миниатюрами хозяина вначале говорили об искусстве, но с нетерпением поглядывали на кухню после бодрой прогулки на катере по леденющей Оке. Пронизывающий ветер со снежинками, мужественные волны и заснеженный траур лесов родили волчий аппетит. Красиво мерцали угли в печи, запахло жареной дичью, на столе расцветал живой натюрморт с сардинами, сыром, ананасами и хрустально холодеющей водкой.

Весело и мятежно стало Алисе после водки. Поднимаясь на балкон, она со смехом перешагивала по три ступеньки — столько токов в теле!

Налейте еще, чтобы стало еще лучше!

И дайте папиросу!

Еще мятежнее, свободнее, выше!

А поэтому еще по банке!

Бегали, дурачились, играли в бутылку. Вспоминали добрые пирушки предков, воспетые гениями. Убрали рюмки и бокалы, налили в вазы сухое вино.

Комната пошла кругами. Алиса пьяно хохотала, сидя верхом на стуле... Потом все провалилось в темноту.

Утро печальное, горькое. На теле липкая грязь чужих прикосновений, в сознании обрывки мерзких воспоминаний. Алиса бессильно заплакала.

Солнечные звуки иного, далекого мира проникли в комнату — Алиса видела себя в зеркале, закрыла глаза и увидела «Серебряную голову», излучающую музыку нежности и тишины. Прохладные тени в рощах. Ясные лесные сны. Благостное начало пути...

Торопливо, как побитая собачонка, побежала на электричку.

Когда вернулся Губарев, она рассказала ему о поездке к членам «Оранжевой Черепахи». Он почувствовал, как недоговаривает она, как душа ее сдвинулась с места. Оба приникли, как от порыва зимнего ветра, в душе жалеющие друг друга и уже чужие. Один строй чувств стал враждебен другому. Он поцеловал ее глаза и прошептал:

— Ничего, будем работать — и все будет хорошо.

Она благодарно обняла его и зарыдала:

— Милый мой, как я тебя люблю!

Но работать она уже не могла, что-то надломилось в ней, рассыпалось в прах, и мог помочь лишь единственный врач — время. Целыми днями она читала Достоевского и еще по астрономии — теории о возникновении туманностей и галактик. Ее интересовали сугубые теории. Например, что жизнь — это старость, болезнь материи. На молодых звездах нет жизни — там ежесекундно происходят пламенные взрывы. Вселенная активно враждебна жизни. Только вокруг тускнеющих желтых солнц возникает органическая жизнь.



Алиса изменилась. В ее ласках есть нечто от иступления приговоренной к смерти.

Ночь. В комнате тени — пятна призрачного света от уличных фонарей. Неумолчно шумит лес. Там пронзительный ветер, побелевшая земля. В комнате жаркая полутьма.

Он и она целуются на постели. Долго, жадно, словно хотят силой удержать свою любовь, не отдать, не разбить, донести до предела, где — «умрем на руках друг у друга».

Лицо Алисы придвинулось к его глазам близко-близко. Губы выросли до огромных размеров. Собранные в трубку, губы извивались. Так безглазые чудища океана ищут добычу во тьме глубин. Вывороченные, чувственные, пугливые. Чудовищный мясистый лепесток, который цвел и триста миллионов лет назад, чтобы хватать и пожирать живое.

Он встал. Включил свет. Алиса удивленно прижмурилась. Тонкая девочка с золотыми школьными косичками и добрыми, любящими глазами. Рот большой, но красив.

Вдруг сказала она:

— Почему ты не женишься на мне?

— Разве мы не муж и жена?

— Надо расписаться.

— Надеюсь, мы пойдем расписываться не сейчас, в два часа ночи? И потом дай мне закончить «Пулемет», ну и оповестить твоих и моих.

— Опять ты с «Пулеметом»! Манья величия! Пойми, наконец, что ты не совершаешь никаких таинств, жизнь проще и печальнее, ты украшаешь людей, их чувства и представления.

— Я действительно украшаю людей, ибо не хочу их обкрадывать.

— У меня чулки рвутся! Надоело перешивать из старья, носить стеклянные камни в самоварном золоте. Терновые головные уборы давно вышли из моды. Хватит подвижничать! Я не требую от тебя яхту, особняк на улице Воровского! Но хоть буду знать, что у меня есть муж — ведь мне делают предложения. А ты

будешь помнить, что у тебя есть маленькая женушка, которая может родить еще более маленьких ребятишек, до того глупеньких, что они даже не смогут сразу оценить значение великого искусства в жизни, зато сразу потребуют кое-чего попроще. И тогда ты напишешь не «Серебряную голову», а голову доярки, и тебе дадут квартиру и деньги — надоело целоваться на подоконниках! Днем надо быть идейным. А вечером можно жить настоящим искусством, иметь друзей не из месткома и говорить не так, как на собрании. Прислуживаются все. Прислуживались и Рублев, и Пракситель, и Рерих.

— Не все,— подавленно ответил он.

— Тогда почему метод Репина и Сурикова стал абсолютным, недвигающимся? Посмотри, чем наполняется Третьяковка! Пшеницей, урожаями, вождями! Ван-Гог, Сезанн, Константин Коровин не мыслили молочнотоварными категориями. Старому искусству они бросили величайший вызов. А мы делаем вид, что их не было. Что же нам сто лет питаться крестьянским хлебушком дедушки Крамского? Мы отстали от искусства. Нечего делать вид, что ты маг и кудесник, как скажут — так и будешь писать!

— Если это будет и моим убеждением.

— Вот-вот, давай образцы для подражания!

— Да, это так — искусство всегда давало людям нравственный идеал. Держится идеал правдой. А правда — изображением типического.

— Но ты изображаешь необычные для большинства вещи! Твой «Пулемет» поймут сто человек из миллиона! Он не типичен!

— Искусство противоположно статистике — типического всегда меньше.

— Шел бы ты марксистскую эстетику преподавать! — закурила Алиса.

Ветер за стенами не стихал. А земля все белела.



Снег. Сумерки. Воронье кружит над кремлевскими соборами. Стынет громада Политехнического музея. В сугробе розовеет афиша — эстетические взгляды немецкого философа Гегеля.

Губарев подходил к подъезду. Двое впереди торопливо свернули. Кажется, Алиса и Морганин. В памяти всплыли слова из письма Пушкина: «Жена моя в большой моде».

Слушал немецкую эстетику, а перед глазами стояли двое.

Возвращался поздно вечером в промерзшем, заиндеветшем трамвае. Мир был угрюмым, непрочным. Долго стоял у кровавых от светофора рельсов.

В общежитии зашел в ее комнату. Алиса снимала пальто. Торопливо сказала, что была у тети. Лживые глаза, раздерганные мокрые волосы — и глаза, и волосы служили моделью «Серебряной головы». Не говорит, что ушла к другому. Готовится вместе ужинать и вместе спать.

Это измена.

— Ты еще согласна стать моей женой?

— А что?

— Завтра я уезжаю работать на юг.

Не умея еще владеть лицом, она выдала радость:

— Конечно, поезжай, а потом все станет ясным.



Уезжая, он встретил их в институте. Они шли по коридору, взявшись за руки. Шли от света и поэтому не видели его. Поравнялись. Узнала ли она его? Она была близорука.



Наступили тяжелые дни одиночества. Субстанцией, из которой возникают миры, стал плоский синий ящик для писем. Ежечасно он подходил к нему — писем не было. А раньше он получал по три письма в день.

Молчание нарушилось коротенькой, беспечной открыткой,

писанной зелеными чернилами, о том, что все в порядке.

Он давал молнии, писал, требовал, умолял — писем не было.

Не вынося пытки ожидания, надевал охотничьи сапоги, меховую куртку, брал ружье и уходил на целые дни в степь.

Бродил по изумрудным зеленым, по серым трескучим полям подсолнечника, по несжатому кукурузнику, отдыхал на кучах старой соломы, курил, гнал время. Возвращался, убыстряя шаги. Писем не было.

Три дня прожил у чабанов. Ночами стрелял по волкам. Запомнилось: снежная гора, над ней тлеет зеленая звезда, четыре корявые сосны рисуются в небе.

В эти дни в чабанском сарае он написал «Автопортрет». Трагическое, почти черное лицо на беспредельной панораме гнетущих снежных хребтов.

В отсутствие Губарева Алиса стала женой Морганина.

Они продолжали видеть друг друга в институте, на улице, но проходили мимо с невидящими глазами и оба бодрились. Раз он встретил их обоих в спортивной одежде, с теннисными ракетками. Увидев Губарева, Неялова запрыгала вокруг мужа, нанося ему шуточные удары. Ах, как мне весело! Как я счастлива! Губарев ссутулился, пошел в общежитие. Его где-то прохватило — начинался жар.

После болезни, прозрачный и бледный, собрал он свои вещи. Их оказалось немного, хотя он слыл хозяйственным студентом и даже учил девушек печь торт в «чуде».

Были одни холсты, подрамники, краски. «Портрет молодого человека с цепью». Он уложил в чемодан прах и пепел прошедшей любви — подарки и вещи Алисы. Фаянсовая фигурка забулдыги в колпаке с крохотной собачкой под мышкой — их символ. Офицерский кортик отца Алисы — она была нежадной и все тащила любимому. Ее расческа и белый шарфик остались случайно. Вот и все. Да еще пачка писем. Но и этого много, слишком много, и все взрывоопасно.

Тихо и незаметно, словно стыдясь, он покинул общежитие, снял угол на Таганке.



По заданию «живопись» Губарев представил этюд маслом «Пулемет». На душном, химически желтом мареве кровавым кармином изображались внутренние линии смертоносного механизма, как если бы человек предстал не внешним обликом, а схемой кровообращения. Зловещие тускло-золотые пятна — патронная лента. Ультрасиняя железная каска вместо головы пулеметчика — сама смерть за гашеткой. Впечатление на грани потрясения. Руководитель Губарева, профессор Туркевич сказал:

— Вы, кажется, патриот?

— Да.

— Не понимаю вашего пацифизма, упадничества. Выбросьте эту мазню и забудьте о ней.

Губарев не послушался и представил этюд официально. Туркевич по-отцовски добро улыбнулся:

— Вы, коллега, пытаетесь писать трагическое — это вам удастся: у вас есть чувство юмора.

Спустя годы художник понял профессорский парадокс.

Картину восприняли как импрессионистическую. Туркевич выставил за нее двойку, еще более восхищаясь «Серебряной головой». Двойка по творческому предмету означала исключение. Надо было договориться с Туркевичем.

Туркевич жил в поселке писателей за городом. За нарядными березами пряталась солидной величины дома. Крестами белело кладбище. Плакали ивы над светлой речонкой. Разрушалась от времени церковь шестнадцатого века.

В поселке нелюдимо, замкнуто. Какая-то тибетская кастовость. Иди час — и не встретишь человека. Детей не видно совсем. Зато много породистых собак. Их прогуливают тоненькие, как трости, женщины. Эти дамы курили длинные

папиросы и говорили о том, как бы еще похудеть.

Профессор окапывал кусты жасмина. Рассказал Губареву несколько удивительных историй, связанных с растениями его сада. Говорил не как профессор с учеником, а как мастер с мастером.

В ломе — Матисс, Питер Брейгель Старший, Петров-Водкин — прекрасные, необычные полотна. Жена академика, сверстница Губарева, поставила на стол чеканный чайничек с коньяком, стопки и золоченую корзинку с конфетами.

Губарев съел конфету с ромом и вертел пальцами блестящий комочек обертки.

Академик стар. Львиная голова, властные складки у толстогубого рта, жирная грудь в седых волосах. Он происходил из донских казаков. Зимой разводил в банках подсолнухи. Его всемирно известная работа «Лиловая степь» написана лет сорок назад.

— Вы росли в провинции? — спрашивал старик.

— Да.

— Это хорошо. Я сам человек с окраины. Провинция толкает к творчеству необыкновенно. Чтобы видеть дальше, в провинции под ногами растут котурны. Вы забыли их снять, когда вступили на московские улицы — здесь и так достаточно высоко...

Отличный лектор, он легко терял связь в словах, но говорить продолжал увлекательно.

— И старое дерево хочет давать плоды,— задумчиво смотрел он за окно. — Да, вы, коллега, река, которая течет как хочет. А надо крутить турбины. Вам надо жениться — все станет ясно. Молодо — огненно...

Пришли гости, друзья академика, знаменитые писатели. Туркевич представил им Губарева без всякой иронии как замечательного живописца.

Обед был великолепным. В высокой и дружеской атмосфере, охмелев от чистого вина и остроумных словосочетаний, Губарев забыл о двойке совершенно. Говорить здесь о таких

вещах было бы бестактно. Уехал он с легким сердцем. Прощаясь, академик подарил ему репродукцию «Лиловой степи» с теплой дарственной надписью.



В институте Туркевич встретил Губарева сухо. Сказал, что ученый совет поставил вопрос о дальнейшем пребывании Губарева в училище.

В тот же день состоялось комсомольское собрание. Оно продолжалось десять часов кряду.

В защиту Губарева выступали многие, в том числе секретарь комсомольской организации, когда-то работавший грузчиком вместе с Губаревым. Его речь свелась к тому, как ловко и быстро Губарев грузил корабли, а такой человек, по мнению оратора, не мог быть плохим. Что касается искусства, то Губарев подтянется, он, секретарь, ручается за это.

На кафедре поднялся Туркевич и гневно обвинил Губарева в преклонении перед Западом.

— Я преклоняюсь перед искусством! — запальчиво выкрикнул Губарев. — Если за это меня исключат, тем хуже для училища!

Последние слова оскорбили многих.

— Уважайте стены! — немощно прокричал профессор, потрясая портфелем. На лбу его вздулась мощная жила, как у Лаокоона в момент борьбы.

Туркевича сменил первокурсник Гольцов. Очень немолодой, семейный, староста курса, член профкома, комендант общежития. С презрительным высокомерием он оглядел собравшихся, заученным жестом расстегнул пиджак, упер руку в бок:

— Товарищи! Я только сейчас узнал, что Губарев — командир Красной Армии. В таком случае мне стыдно за наш красный офицерский корпус, к которому я имею честь принадлежать. И я жалею, что такой Губарев не попал ко мне в роту! Я бы сделал из него настоящего человека!..

Негромко, но так, что услышали

все, Губарев сказал:

— Если бы я пришел в эту роту, ты бы уже не был командиром!

Смех. Аплодисменты. Смеялся даже Туркевич.

Вперед вышел студент-дипломник Миронов, палешанин с иконописным, аскетическим лицом. Весь вечер он просидел в дальнем углу, закрывшись мольбертом, — здесь это было в порядке вещей.

За несколько часов он написал портрет Губарева и показал собранию. С портрета смотрел молодой человек исключительной нравственной чистоты.

Накал стал общим. Первокурсники, еще необъезженные скакуны русских степей, скандировали: «Губарев — художник!» Два человека оставались равнодушными в зале. Губарев и Туркевич. Губареву хотелось, чтобы его исключили. Будет повод уехать куда-нибудь на Саяны, не видеть Алису. Туркевич погас давно. Но действовать не перестал. Если бы речь шла о награждении Губарева за «Пулемет», Туркевич выступил бы за это не менее рьяно. Профессор впадал в детство. Но этот человек некогда дружил с Врубелем, Серовым, Репиным. Воспитал плеяду новых художников. Как автор книг и лектор был неисчерпаемой сокровищницей знаний, «ходячей энциклопедией». Сейчас он подсел к Губареву, положил руку ему на плечо и с участием сказал:

— Меня дважды исключали из Петербургской академии художеств.

И Губареву стало жаль профессора, уже ослепшего коня на трудной борозде искусства.

Вышла Неялова. Положила на кафедру студенческий билет и зачетку:

— Вот... если нужна жертва, кого-то надо исключить... меня исключайте...

Нервически всхлипнула, выбежала за дверь и разрыдалась.

— Талантливая кобыла, — спокойно сказал Туркевич Губареву. — Так и прет из нее! Богоданная, скифская сила. Нужна хорошая плеть и железная узда работы. Вы потуже седлайте ее,

коллега. Помогите ей...

Об измене профессор не знал. Слово взял преподаватель политической экономии Яшников, веселый, русский гигант, похожий на былинного Микулу. Еще недавно студенты просили директора уволить Яшникова, жаловались на жесткую воинскую дисциплину педагога — он даже заставлял их вместе с ним делать гимнастику среди лекции. Вопреки правилу свободного посещения лекций, он обязал всех ходить на его занятия, беспощадно выгонял тех, кто мешал или спал, требовал, чтобы каждый студент усвоил его науку — иначе, говорил он, за что мне деньги платят? Искусствоведы посмеивались над ним, сторонились, а когда узнали, что он пришел из армии, где был политруком, решили: солдафон. Вскоре студенты полюбили его. Прямой и бесхитростный, он простодушно иллюстрировал категории политэкономии примерами из жизни своей семьи. У него было шестеро детей. Жаловался на то, что ребята обувь быстро носят и хлеба много едят, поэтому общее благосостояние растет, а его личное понижается, пока дети не встанут на ноги. Неизменно бодрый, жизнерадостный, Яшников питался в студенческой столовой, имел костюм для чтения лекций, незаметно заштопанный на локтях. Наверное, не забыл еще, как пахнут землю и отбивают косу.

Яшников оглядел собрание. Заговорил политрук и диалектик:

— Пулемет мне знаком хорошо. По картине Губарева пулемет изучать нельзя — это недостаток...

Дружный смех покотился по залу.

— Подождите. Главное не это. Вот ты, Губарев, петушишься — уйду из училища. Плохо это. Так свои позиции сдашь, врагов обрадуешь. Я вас чему учу? Думаете, политэкономии? Нет! Я вас учу борьбе! Боритесь! Иначе вы не построите коммунизм! Боритесь! Потому что рутина, корысть, трусость — тоже классовый враг. Ничего готового вам с неба не свалится. Ваше искусство победит только в борьбе! Боритесь, как Ленин, —

и будущее принадлежит вам!..

Все встали и криками мешали говорить следующим ораторам.

Собрание закончилось стихийно.



Руководителем Губарева стала молодая женщина, художница, сделавшая эпоху в портретной живописи тридцатых годов. Она уже давно была влюблена в его талант. Слез и крови стоил ей этот ученик. Порой материнское мешалось в ней с женским, и тогда Губарев становился грубым, капризным, бешеным.

Он получил диплом с отличием.

Неялова не защищалась.

Его поздравляли, обнимали. Молитвенно смотрели девушки-первокурсницы. Одна подарила ему цветы. Он вспомнил Курский вокзал, лепестки на асфальте, девушку с белыми волосами.

Когда шумная толпа почитателей отхлынула, к нему робко подошла Неялова. В темной блузке и старательно поглаженной юбке.

— Поздравляю тебя, — и не сумела удержать слезинок в добрых серо-синих глазах.

— Спасибо... Как ты похудела! — жадно оглядывал вблизи дорогое и неузнаваемое лицо.

Миг молчания. Как перед раскрытой могилой. Сейчас будут засыпать. И как комья земли по крышке, стучат в коридоре мерзлые слова поздравления.

На стене под плафоном печальная голова гения. «Серебряная голова». Собственность института. Полутени. Полузвуки. Чуть угрюмый покой здания, из которого на ночь уходят люди.

Они еще стоят. И уйти не могут. Бесконечно далеки. Навеки связанные. «Право, я видела где-то его лицо».

Хочется кричать, остановить, вернуть время, разбить равнодушные стены... Но рядом люди. Никто не кричит. Все спокойны. Надо соблюдать приличия. И они расходятся.

Куда? Разве можно разойтись в любви? Разве во сне она не придет к его изголовью и не погладит усталую

одинокую голову? Да ведь это жизнь-сон, а сон, получается, жизнь! Ведь они любят! Знают об этом! Но они не умеют прощать. Она не простит себя. Они умеют только любить. Отныне их удел — любовь. И так беспредельно. Пока сердца не разорвутся.

Ночью, лежа в темном купе вагона, он смотрел на фиолетовое окно, по которому медленно ползли светляки-звезды. Потом их смыло налетевшим дождем. Губарев открыл окно. Ворвался запах осенних, отродивших полей. Полынные степи, могильники да перелески. Из темноты летели воспоминания о первой жизни — до Алисы, о второй — с Алисой.

Хрипел паровозный свисток. Поезд мчался и увозил вечного странника к новой, третьей жизни. Увезил навсегда.



...Еще не светало, но июньская ночь сломлена пеньем вторых петухов в деревнях и удивительно прозрачной, предутренней тишиной.

Караул у знамени сменился. Легкий ветерок играл за окнами пыльными ветками, сирени.

Губареву тяжело. Видеть ежедневно Морганина, быть по отношению к нему начальником...

Капитан решил написать рапорт командиру полка, чтобы Морганина перевели в другой батальон. Долго прикидывал, как на языке устава, сухом и однообразном, как патроны одного калибра, объяснит свою просьбу. Взял лист, размашисто написал: рапорт. Задумался. Время шло, и край неба порозовел.

Резко заверещал телефон. Губарев вскочил, схватил трубку. Разобрал неживой, мембранный шелест:

— ...нарушена танками...

Потом трубка долго шипела, раздался противный хруст и связь оборвалась.

Губарев выбежал в коридор. Строго и невидяще стоят солдаты у знамени. Один — Крашенников. Приказ о его демобилизации уже висит. У двери штаба части прикорнул связной. Дежурный разорвал пакет, прочитал три

строчки синей машинописи, толкнул связного и крикнул чужим голосом:

— Боевая тревога! Батальоны — в ружье!

И стал звонить по всем телефонам.

Топая тяжелыми сапогами, в штаб вбежал знаменный взвод, встал вокруг знамени, сверкая штыками.

Каждую минуту прибегали и приезжали командиры части.

В артиллерийском парке зарычали моторы. Зевали расчехленные пушки, потягиваясь хоботами на светлеющем небе.

По лагерю замелькали солдаты. Было слышно, как у ружейных домиков звякало оружие — дивизия становилась в ружье.

Началась Великая Отечественная война.



Через час полк, где служил Губарев, выступил к границе маршброском, но был встречен сильным огнем противника, залег и стал отступать, обагрывая кровью поля созревающей ржи.

Рота Губарева получила приказ стать в боевое охранение. Скрытно, лесными балками, рота выходила на позицию. Солнце еще не высушило сенокосные угодья — заросли иван-чая, медуницы и кашки. Было прохладно, и каждая травинка говорила о мире и тишине. Капитан шел в середине колонны. Он полез в карман за папиросой и вытащил лист со словом «рапорт».

Грозно синело небо на западе. Все прошлое отступило, померкло, казалось незначительным. Командира охватил восторг боя. Ветер нес запахи цветущих трав, но это ветер смерти. Деревья протягивали солдатам зеленые ветки, но из-за них могли полоснуть и пулеметы. Склоны балок стали враждебными — они могли скрывать вражеские орудия.

Губарев увидел Морганина.

Беспредельная синь неба навевала величественную тревогу. Еще вчера Морганин был чужд Губареву, неприятен как плохой солдат. Он даже хотел посадить его под арест за то, что

Морганин вяло держал винтовку в набитом солдатами кузове машины. Машину бросало на ухабах, винтовка вихлялась и могла выбить глаз соседу. Такие люди иногда становятся невольными убийцами. Для них как будто не существуют другие люди.

А сейчас, в это пламенное утро, Губарев отрешился от прошлого. Ненависть к поработителям, веками звенящая в крови его предков, родила любовь к солдатам и к Морганину тоже. Алиса теперь где-то одна, а они вот вместе и, может, накануне смерти.

Губарев незаметно выбросил в болотце, заросшее бархатным камышом, лист — «рапорт». Нет, они теперь не соперники в любви к женщине. Они соперники в любви к Родине. Споры в искусстве? Сейчас осталось одно искусство — метко бить гранатой и пулей, быстро и умело окапываться.

Морганин поравнялся с командиром. Солдат нес на спине рацию. Идет вместе со всеми в смертный бой — как же не любить его! Он был мужем Алисы. Почему Губарев должен их ненавидеть? Пусть душа Губарева как та земля, что выжгло снарядам. Долго не растут в горечи пепла цветы. Но если Алиса и Морганин счастливы, у них будут дети, очаг, свои горести и радости — зачем же злобиться на них? Надо даже помочь им — не дать немецкой пуле скосить Морганина!

Командир смело и доверчиво заглянул в глаза солдата и увидел в них высокий блеск отваги и благородства. Были ли это собственный блеск или отраженный блеск глаз командира, как холодная красная луна отражает свет солнца? Губарев об этом не думал. Здесь, под огнем, самым великим была любовь, а не ненависть.

Навсегда ранила Губарева подлость Алисы и Морганина. Но теперь, под стволами пушек, разве об этом думать? Как снежные хребты, как звездная вечность, чистой становится душа, и трутся о нее прохладные приливы нежности.



В разрывах, крови и порохе бежали дни.

Как-то, проходя мимо капитана, Морганин не отдал ему честь. Сделал это потому, что тут не казарма, а фронт, огонь, смерть — до формы ли!

Однако командир остановил рядового, вернул на три положенных шага и заставил себя приветствовать. Заодно сделал замечание, что солдат небрит и белье его пахнет дурно. Морганин развязно улыбался этому формализму.

Крашенников приволок «языка». Губарев допросил немца и поручил Морганину и Малинину доставить его в штаб фронта. Солдаты взяли карабины и повели пленного. За ближайшими кустами треснули выстрелы. Конвоиры, веселые и довольные, вернулись в окопы. Рота одобрительно смотрела на них. Ненависть к врагу была велика. Губарев только взглянул на вернувшихся и углубился в карту района. Услышал, как Морганин говорит Малинину:

— Видишь ту сосну? Над камнем... Как вдова над убитым. Сейчас бы краски и холст...

И командир взорвался:

— Почему не выполнили приказ? Кто разрешил убить «языка»?

— Их, гадюк, всех перебить надо! — прижег губы окурком Малинин.

— Первый воинский долг — дисциплина! — кричал Губарев, держась за пистолет.

Малинин и Морганин криво ухмыльнулись. У них еще дымились стволы. Пальцы близко от спускового механизма.

— Попытка к бегству, — сказал Малинин, до войны служивший охранником в тюрьме.

— Смотри ты у меня! — тихо и грозно поднялся командир, и Малинин попятился.

Губарев замолчал, увидев, что лицо Малинина трупное, жизнь покинула его, а смерть накладывает восковую маску.

Малинин клацнул затвором и засмеялся коротким волчьим смехом.

Волчьи горы темнели на западе.

И такое же волчье солнце закатывалось за бурую шерсть лесов. Наступил час немецких минометов.

Мины рвались с воющим визгом. Малинину выворотило живот. Он хрипел ртом, забитым глиной. Дотянулся до фляги, судорожно глотал воду, дернулся и затих. Сбоку протяжно стонал раненый Морганин.

Рота отступила. Последние солдаты быстро скрывались в желтом березняке. Губарев очнулся от легкой контузии, осмотрелся. В траншее он и Морганин. Взрывы мин отрезали их от роты. Уже видно, как ползут немецкие солдаты. Командир подхватил солдата на спину и пополз.

Сутки они скрывались в болоте, отрезанные от роты. Следующей ночью Крашенников нашел их. Морганин был без сознания. Командир поил его из баклажки холодным чаем с вином, делал перевязки. Бинтов и белья не хватало, пришлось употребить и белый шарфик Алисы, который нашелся в командирской сумке.



Шли бои...

Расход людей был большой. Офицеры знали, что они расходуют солдат, как патроны ради выполнения цели. Не секрет, что лучшие люди береглись для решительных и чрезвычайных операций. Как патрон себе самому, берег Губарев Крашенникова, Героя Советского Союза.

Берег и вернувшегося в строй Морганина, но уже не в силу возвышенных чувств, а из какой-то подлой жалости. Он все еще боялся, что в нем остались ревность и обида, и поэтому не посылал Морганина туда, где задача выполнялась явно ценой крови или жизни.

В боях погибли и Валя Грачев, и Леша Сафонов, и гитарист Качин. А гитару разбило на куски, и какой-то солдат пришил золотыми струнами подошву сапога.

Три «пантеры» подорвал старшина-татарин и автоматная строчка пригнула его к матери земле. Он очень любил солдатскую форму, нашивки,

значки, шевроны, ордена. И в боях ухитрялся ходить, как на параде. Солдаты все выбросили противогазы за ненадобностью. Старшина носил противогаз. Ему собственно не нужен был компас, но он носил и его рядом с часами. Офицерская планшетка и бинокль всегда при нем.

За каждый подбитый танк ему полагался орден. Умирая, старшина успел сказать Губареву:

— На боеприпасы и сухой паек я дал за явки... Маленький личный просьба: положите лицом туда, на запад, в руки дайте какой-нибудь негодный автомат, спишите потом с инвентаря...

Губарев вложил в руки старшины трофейный «вальтер».

— Нет,— закрывались глаза старшины, — поломанный, как я, дайте... и тому подобный...

У его могилы стоит ржавая немецкая «пантера», заросшая синими колокольчиками. Местность вокруг, как на учебной топографической карте. Населенный пункт «Сыроежки», отдельное дерево, тригонометрическая вышка, ручей... Такую местность и любил старшина Бекчиев, московский слесарь.

Взамен убитых приходило пополнение. Менялись фронты, участки, направления. Шел полк и оставлял за собой людей в земле. Новые вставали в ряды. Если б встали из земли те хлопцы — три полка было бы!

И вот в первой стрелковой роте, кроме командира, осталось двое из довоенного состава — Крашенников и Морганин. Обоим полагался отпуск — на войне тоже бывает отдых. Но как раз пришло время, когда командир вынужден послать их в опасную разведку. Вынужден, ибо Крашенников — бог разведки и задание выполнит наверняка, а Морганин радист и заменить его некем.

Губарев проинструктировал их, принял документы и знаки, хотел поцеловать Крашенникова, но тогда надо целовать и Морганина, и он просто пожал им руки.

Через час, волнуясь непонятно отчего, командир послал в помощь

разведчикам отделение солдат. Отделение вернулось вечером с Морганиным. Радист рассказал, как погиб Крашенников. Он говорил сбивчиво, путано. Губареву стало ясно, что разведчик погиб по вине радиста, демаскировавшего себя и товарища стрельбой, когда не хватило выдержки, дисциплины. Он позволил себе не повиноваться уставу.

Губарев не наказал Морганина. Какое наказание может вернуть дорогую потерю! И все еще капитан боялся быть пристрастным к радисту. Только и сказал:

— Эх, ты, оловянная черепаха!

Он достал из сумки «смертный паспорт» Крашенникова — черный пластмассовый пенал величиной с палец. Извлек из него бумажную трубочку. На бумаге веселой рукой разведчика написано: «О моей смерти сообщите маме Дарье Васильевне Крашенниковой, село Красный Кут, Ставропольского края...»

Морганин отвернулся — по лицу ротного текли слезы. Губарев пересилил себя, нахмурился и отдал Морганину письмо от Алисы, которое пришло днем.



Ночь. Лицом к звездам лежат солдаты. Крупно выделяются головы товарищей — они у каждого перед глазами. Кто-то встал и на фоне чудного звездного неба кажется отвратительным фантомом в задеревеневшей шинели и железной каске. Губарев узнал его — Тихомиров, умный, спокойный сержант, математик, занятый пятым постулатом Эвклида. Капитан подозвал его. Тихомиров лег рядом. Губарев стал готовить его в разведчики.

Высокие травы занимают полнеба. Постоянно взлетают и мягко опускаются мертвенно-зеленые ракеты. Пролетают трассирующие пули. Гудит самолет — муха, опутанная лучами прожекторов. Поблескивают меловые осыпи Млечного Пути, зияя ямами, как могилами.

А Крашенников мертв. Он лежит где-то в темной лесной балке, бесчувственный и безмолвный, и никогда больше не увидит ни травы, ни неба, ни матери.

А Морганин жив, даже письмо от жены получил. Ну что ж, его счастье!

В полночь Губарев получил приказ передвинуться к морю. Роту оставляли прикрывать отступление полка. Из штаба привезли знамя. Мало кто уцелеет завтра. Но приказ есть приказ.

Бесшумно снялись и попластунски, где перебежками уходили к берегу. Вскоре послышался ровный гул прибоя.

Звездная темень. Голый мыс. Море. Корни дикого тамариска.

Вошла огромная красная луна над дальним лесом, и в ее свете солдаты оборудовали окопы.

Губарев неотрывно думал о письме Алисы Морганину — до этого писем не было. Красная луна поднималась все выше. Капитан вспомнил, как при такой же луне они заблудились в степи с Алисой — на сенокосе. Долго блуждали в призрачном свете, не могли выйти к табору. Алиса устала. Капризно легла на сено у копны, а он стоял над ней и читал баллады. Алиса, закрыв глаза, звала его лечь рядом и отдохнуть, а он ничего не понял и продолжал декламировать. Алиса встала, поправила одежду и сразу же вывела его к балагану студентов. Потом оба смеялись над той ночью, когда Губарева заморозила красная луна.

Мерно и верно бьются волны о серые камни. Солдаты прикорнули под шинелями, обняв винтовки.

Губарев встал, подошел к обрыву моря. Пустынные тусклые валы. Серебряная дорога. Как она волновала его, когда он плавал на сейнере!

Чья-то тень легла рядом с его тенью. Капитан обернулся. Морганин.

— Товарищ капитан, — глухо просил солдат. — Мне полагается отпуск... Вот рапорт. Отпустите на две недели — мне положен месяц...

Капитан не отвечал, очарованный сиянием на волнах.

— Алиса тоже просит приехать, ей тяжело, мать у нее погибла в бомбежке... Отпустите, я боюсь за нее... Вот почитайте письмо, — протянул разорванный конверт.

— Зачем же? — жарко смутился Губарев. — Я верю тебе...

Морганин видит вспыхнувшие глаза командира, придвинул письмо ближе. Его глаза тоже загорелись, как в предчувствии выигрыша.

И Губарев понял: Морганину так сильно хочется уехать с передовой, так не хочется умирать завтра...

И все же капитан не устоял — взял письмо. Нажал на электрический фонарик на груди, заслонил луч полый плащ-палатки и стал читать письмо, написанное знакомым почерком, — каждая буква отдельно. Впрочем, почерк стал ровнее, устойчивее.

«Милый мой!

Как долго мы в разлуке! Я ничего не хочу от жизни, лишь бы увидеть тебя. Я так люблю тебя. Только тебя.

Ты мой единственный, родной, любимый...»

Письмо как письмо. Но в конце нарисован забулдыга с тростью и собачкой под мышкой — их символ. И приписана песенка, которую Алиса напевала когда-то Губареву:

Африка, конечно, далеко.

В Африку попасть нам нелегко.

Но если доктора зовут, —

Должен доктор оказаться

Тут как тут!

Имени в письме не упоминалось. Губарев задумался. Голод, холод, смерть матери, адский труд на шахте — об этом говорилось в письме — а ведь у нее такие тонкие руки.

— Бедная, бедная, — прошептал он и вернул письмо Морганину, потому что на конверте написана его фамилия. Командир оглядел солдата. В длиннополой шинели, с ввалившимися щеками, сгорбившийся от ночной сырости. Ямочка на подбородке чернела, как пулевая рана. Жалость растопила железное сердце капитана. Пусть Морганин идет в тыл. Но вспомнил: в бою никак не обойтись без радиста. А заменить его по-прежнему некем. И виновато сказал:

— Извини, брат, солдат не хватает!
Завтра после боя гуляй на все четыре стороны!

Пошел от моря тяжелой походкой.
Морганин забежал сбоку:

— Сделайте ради Алисы.

— Не могу.

— Товарищ капитан... я чувствую... я боюсь, не скрываю...

— Ничего, я сам боюсь, будешь около меня в бою. Я буду думать, что ты не боишься, а ты думай, что я не боюсь, — так и продержимся.

— Я знаю, что завтра ожидает роту, — спотыкался о камни Морганин.

— Что? — приостановился

Губарев.

— Смерть, — одними губами шепнул Морганин.

— Бессмертие! — улыбнулся, как фанатик, капитан и зашагал.

— Отпустите... Ведь она любит вас... И письмо это вам, вот возьмите... я никогда не увижу ее, она известила меня о разводе... Отпустите, я был ранен...

А Губарев уже отдавал приказания своему заместителю.

Морганин отошел.

Перед утром, когда обессиленная луна бледным кругом стояла над морем, Губареву доложили об отсутствии Морганина. А еще через час караул доставил дезертира, мокрого, оборвавшегося о камни, с потрескавшимися до крови губами.

В роте были новички, семнадцатилетние пареньки, недавно прибывшие из Средней Азии. И командир решил...

Он увидел мать Морганина, нарядную даму в старинной вуали, она часто приходила в институт справляться о сыне, ее одинокий, никому не нужный путь, старость, беспомощность...

Но он офицер. У него есть долг. Есть Родина. Сказал:

— Рота, слушай мою команду!

По цепи передали.

— Рота, ко мне!

Усталые солдаты окружили капитана.

— Первый взвод в одну шеренгу

становись!

Взвод построился. Механически встал в строй и Морганин, солдат первого взвода, — Рядовой Морганин!

— А...

— Вон из строя! Морганин вышел.

— Десять шагов вперед — марш! Увязая в камнях, Морганин трудно, как жизненный путь, прошел назначенное расстояние и при повороте кругом чуть не упал.

— Я, командир первой стрелковой роты Седьмого Краснознаменного полка, капитан Губарев, данной мне властью приговариваю рядового Морганина за побег с фронта, за измену Родине — к расстрелу! Первый взвод оружие к бою! Целься!

Морганин вскрикнул и, как заяц под защиту кустов, кинулся назад, в строй. Рота отодвинулась от него. Он бросился в другую сторону — там встали штыки, жизнь отвернулась от него. Тогда дезертир с оборванными погонами, захлестнутый мутным ужасом смерти, рванулся убежать по серым камням к морю. Камни уже розовели.

— Огонь! — тихо, как ругательство, бросил Губарев.

И упал в мокрый от росы песок и кроваво всхлипнул Морганин.

А рота уже уходила, и тело дезертира одиноко чернело среди ползучего тамариска. Бились волны о камни, хрипели и захлебывались в гротах.

Рота шла быстро навстречу цепям серо-зеленой немецкой пехоты с танками.

Солнце нового сражения окутали тучи дыма запоздавшей артподготовки.

Дальше и дальше уходит рота. Вот уже еле видны бегущие с ружьями наперевес солдаты. Потом их заволокло дымом.

Впоследствии мне стало известно, что капитан Губарев в той контратаке был убит.



Что касается Алисы, я ее тоже знал. Недавно я побывал на выставке ее работ на Кузнецком мосту.

Проходя через первый зал, я

увидел знаменитую «Серебряную голову». Это был зов из будущего. Из тридцатого века. И это был мой современник — ясноглазый романтик, слегка окутанный печалью трудного творчества.

Рядом висел «Пулемет». Я вздрогнул. На меня повеяло атомным ужасом. Картина против чудовищных войн, написанная человеком, который неплохо умел воевать. Снова я понял, что должен беречь и ландыш, и солнце, и ребенка.

Были здесь и «Гамлет», и «Автопортрет», и «Гибнущая бригантина» — апофеоз мужества и силы. Остальные работы не сохранились. Но дальше я пошел, наполненный Неведомым, Прекрасным, Высоким.

Работ Неяловой было много. Женщина-экскурсовод говорила, что художница сделала значительный вклад в современную живопись.

Я подошел к одному полотну.

В полумраке, на необычайно просторном фоне, изображался юноша. В стальной распахнутой рубашке. Синяя чернь глаз, в чистом пламени благородство. Чуть скорбные, впалые щеки. Граненые губы. Сильной рукой на плечо закинут меч-молот, лишенный символической невесомости. Сзади полыхают огни не то домны, не то пожарища...

Я наклонился и прочитал: «Портрет молодого человека эпохи социализма». Сердце мое сдавило волнение. На полотне было изображено лицо Губарева — штурмана и дровосека, воина и художника.